

Начиная с Галилея, все они перечислены в известной книге Г. Тиссандье (изд. Павленкова, Спб., 1901). Но для наших дней книга эта, несомненно, уже устарела: там, например, нет ни слова о знаменитой француженке г-же Кюри, нет ни слова о нашей соотечественнице г-же Столпаковой. Памяти этой последней мы и посвящаем наш скромный труд.

Своим подвигом г-жа Столпакова, конечно, искупила все свои ошибки, но тем не менее мы не считаем себя вправе скрыть их от широких читательских масс.

Первой ошибкой Варвары Сергеевны Столпаковой было то, что родителей себе она выбрала крайне непредусмотрительно: у отца ее был известный всему уезду свеклосахарный завод. Даже и это, в сущности, было не так еще непоправимо: Варваре Сергеевне стоило только отдать свое сердце любому из честных тружеников завода – и ее биография очистилась бы, как углем очищается сахар-рафинад. Вместо этого она совершила вторую ошибку: она вышла замуж за Столпакова, увлеченная его гвардейскими рейтузами и исключительным талантом – пускать кольца из табачного дыма.

Атлетическое, монументальное сложение Варвары Сергеевны было причиной того, что третья ее ошибка произошла почти для нее незаметно, когда она в столпаковском лесу нагнулась сорвать гриб. Нагнувшись, она ахнула, а через четверть часа в корзинке для грибов лежала эта ее ошибка – пола мужеского, в метрике записан под именем Ростислава.

Из других письменных материалов для истории сохранился также еще один документ, составленный в день отбытия Столпакова-отца на германский фронт. В этот день кучер Яков Бордюг привел из монастыря всем известную монашку Анну, и полковник Столпаков продиктовал ей:

– Пиши расписку: «Я, нижеподписавшаяся, монашка Анна, получила от г-жи Столпаковой 10 (десять) рублей, за что обязуюсь класть ежедневно по три поклона за мужа ее, с ручательством, что таковой с войны вернется без каких-либо членовреждений и с производством в чин генерала».

Этот трудовой договор монашка Анна выполнила только наполовину: в генералы Столпакова действительно произвели, но через неделю после производства немецкий снаряд снес у Столпакова голову, вследствие чего Столпаков не мог уже пускать табачных колец, а стало быть, и жить.

Газету с известием о безголовье Столпакова с завода привез все тот же кучер Яков Бордюг. Если вы вообразите, что у нас на Невском землетрясение, Александр III уже закачался на своем коне, но все-таки еще держится и великим голосом кричит вниз зевакам: «Чего не видали, дураки?» – вам будет приблизительно ясно, что произошло в столовой, когда Варвара Сергеевна прочитала газету. Все качалось, но она изо всех сил натянула поводья и крикнула Якову:

– Ну, чего не видал, дурак? Иди вон!

Яков вышел, и только тогда в тело Александра III вернулась нежная женская душа, Александр III стал монументальной свеклосахарной Мадонной, на коленях у нее сидел сын, и Мадонна, рыдая, говорила нежнейшим басом:

– Ростислав, столпачонок мой, единственный...

С тех пор – был только он, единственный, и его собственность. Согласно учению Макса

Штирнера и Варвары Столпаковой – его собственностью был весь мир: за него люди где-то там сражались, на него работал столпаковский завод, ради него была монументально построена грудь Варвары Сергеевны – этот мощный волнолом, выдвинутый вперед в бушующее житейское море для защиты Ростислава.

Единственному было десять лет, когда в столпаковской столовой вновь случилось землетрясение. Эпицентром, как и в первый раз, оказался кучер Яков Бордюг. Громящая стихийными, танкоподобными сапогами, он подошел к столу, положил перед Варварой Сергеевной газету.

Совершенно неожиданно из газеты обнаружилось, что одновременно произошли великие события в истории дома Романовых, дома Столпаковых и дома Бордюгов: дом Романовых рухнул, госпожа Столпакова стала гражданкой Столпаковой, а Яков Бордюг – заговорил. Никто до тех пор не слышал, чтобы он говорил с кем-нибудь, кроме своих лошадей, но когда Варвара Сергеевна прочла вслух потрясающие заголовки и остановилась – Яков Бордюг произнес вдруг речь:

– Это выходить... Это, стало быть, я теперь вроде... это самое? Вот так здра-авствуй!

Возможно, что это была – в очень сжатой форме – декларация прав человека и гражданина. Как мог ответить на декларацию Александр III? Конечно, только так:

– Молчи, дурак, тебя не спрашивают! Иди, запрягай лошадей – живо!

Человек и гражданин Яков Бордюг почесался – и пошел запрягать лошадей, как будто все было по-старому. Мы склонны объяснить его поступок действием многолетнего, привычного условного рефлекса. Когда Яков доставил в город Варвару Сергеевну, ее единственного и два чемодана, он в силу того же рефлекса распряг лошадей, засыпал им овса – и вообще остался при лошадях.

В эту ночь свеклосахарные мужики сожгли столпаков-ский дом и завод. У Варвары Сергеевны сохранилось лишь то, что она привезла с собой в чемоданах, и то, что лежало у нее в сейфе. Тогда для хранения ценностей еще не были изобретены сейфы антисейсмической конструкции, как-то: самоварные трубы, ночные туфли, выдолбленные внутри поленья. Поэтому все содержимое сейфа Варвары Сергеевны в октябре было поглощено стихией. Ей пришлось отступить на заранее заготовленные позиции – в мезонин у часовщика Давида Морщинкера. Лошадей и экипаж она приказала продать в спешном порядке.

Яков Бордюг выполнил эту операцию в первый же базарный день – в воскресенье. Вечером он, как каменный гость, прогромыхал по лестнице на мезонин, – выложил перед Варварой Сергеевной керенки, николаевки, думки – и сказал:

– Ну... благодарим, прощайте.

В ответ – разгневанный императорский бас:

– Что-о-о? Иди, дурак, лучше в кухню – самовар пора ставить.

Бордюговские сапоги шаркнули вперед, назад, остановились: их душевное состояние несколько секунд было неустойчивым. Но условный рефлекс еще раз одолел: Яков Бордюг пошел ставить самовар.

И дровами, самоварами, печами – он занимался в течение трех следующих глав.

2

В законе наследственности есть некая обратная пропорциональность: у гениальных

родителей дети – человеческая вобла, и наоборот. Если у генерала Столпакова были только табачные кольца и ничего больше, то естественно, что у Ростислава оказался настоящий талант. Это был талант к изливающимся в трубы бассейнам, к поездам, вышедшим навстречу друг другу со станций А и Б, и к прочим математическим катастрофам.

Общественное признание этот талант впервые получил в те дни, когда судьба, демонстрируя тщету капитализма, всех сделала одновременно миллионерами и нищими. В эти дни Варвара Сергеевна продала Давиду Морщинкеру три золотых десятки, и надо было это перевести на дензнаки. Бедная Морщинкерова голова, размахивая оттопыренными крыльями-ушами, неслась через астрономические пространства нулей, пока окончательно не закружилась.

– Дайте-ка мне, – сказал Ростислав.

Он нагнул над бумажкой криво заросший черным волосом лоб. Минута – и все было готово: бесконечность была побеждена человеческим разумом. Морщинкер воскликнул:

– Так вы же, госпожа Столпакова, имеете в этой голове какой-нибудь клад! Это же недалекий будущий профессор!

Слово это наконец было сказано: профессор. Рукою бедного часовщика был зажжен маяк, осветивший весь дальнейший путь Варвары Сергеевны. Она теперь знала имя бога, какому она принесет себя в жертву.

Упоминание о боге, хотя бы и не с прописной буквы, – в сущности, неуместно: сама жизнь в те годы вела к твердому научно-материалистическому мировоззрению. И Варвара Сергеевна усвоила, что талант составляется из ста двадцати частей белка и четырехсот частей углеводов, она поняла, что пока, до времени, до подвигов более героических, она может служить науке, только снабжая будущего профессора хлебом, жирами и сахаром.

Сахару не было. В бессахарном мезонине Яков Бордюг растапливал печку. У Варвары Сергеевны в груди материнское сердце скреблось, как крот, слепо отыскивая путь к сахару. На Якове Бордюге была надета стеганая солдатская безрукавка.

– Поди сюда! – вдруг скомандовала Бордюгу Варвара Сергеевна. – Стой... Снимай! – она ткнула пальцем в безрукавку. – Так. Можешь идти.

Яков Бордюг ушел. Безрукавка осталась у Варвары Сергеевны. Зачем все это было – пока никому непонятно.

Через неделю Варвара Сергеевна сидела в вагоне. Заря – упитанная, розовая, буржуазная, еще во времена Гомера занимавшаяся маникюром, – с любопытством смотрела в окно. Возле окна, на мешках, три гражданки спали кооперативно, кустом: приткнувшись одна к другой лбами. Над ними, качаясь, свешивалась рука с багажной полки, торчали чьи-то забытые руки из-под скамьи. Все руки – красные от зари и от холода, но Варваре Сергеевне тепло: на ней та самая безрукавка Бордюга, густо простеганная... чем бы вы думали? Гагачьим пухом? Ватой? Нет, сахарным песком. Кроме того, ее материнское сердце согрето и еще кое-чем, о чем мы пока говорить не вправе. Какой-нибудь час – и она дома, сама обо всем расскажет Ростиславу. Только бы благополучно проехать последнюю станцию...

Варвара Сергеевна осторожно запахнула на груди безрукавку – так осторожно, как будто вот сейчас ее бюст вспорхнет и улетит. На скамейке напротив старичок неизвестного пола (бабья кацавейка и борода) понимающе взглянул на бюст, осенил себя крестным знаменем и сказал:

– Пронеси, Господи! Подъезжаем...

Погрозив хоботом, мелькнула в окна водокачка. Кооперативные гражданки вскочили. Кто-то сзади Варвары Сергеевны открыл окно и испуганно ахнул: «Идут!» Под окном на станции запел петух – видимо, молодой: он знал только пол петушиной строфы. Но и этой половины было довольно, чтобы Варвара Сергеевна похолодела. Она торопливо скомандовала:

– Закройте окно!

Никто не шевельнулся, все примерзли к своим корзинам, мешкам, чемоданам, портпледам, баулам: в вагон уже входили они, заградиловцы. Впереди шел веселый, тугощекий парень морковного цвета, сзади – три бабовидных солдата с винтовками на веревочках.

– Ну-ну, граждане, веселей – расстегивайся, распоясывайся! – крикнул морковный парень.

За окном молодой петушок опять начал – и опять сорвался на половине строфы, как начинающий поэт. Если б только можно было встать и закрыть окно...

Но уже рядом стоял морковный парень и, прищурясь, глядел на одну из кооперативных гражданок.

– Ты что, тетка, из Киева, что ли – из киевских пещер?

– Нет, что ты, бабушка, я из Ельца.

– А почему же у тебя глава мироточивая?

Чудо совершалось на глазах у всех: ситцевый платок у гражданки был сзади чем-то пропитан, что-то стекало у нее по шее...

– Ну-ка, снимай, снимай платок! Ну-ка?

Гражданка сняла: там, где у древних женщин полагалось быть прическе, – у гражданки была прическа из сливочного масла в вощеной обертке...

– А у вас? – морковный парень повернулся к Варваре Сергеевне.

Она сидела монументально, выставив, как волнолом, могучую грудь, как будто еще более могучую, чем всегда. Она молча, императорским жестом, показала на раскрытую кофровую сумку: там были только законные вещества.

– Это все? – парень остановился и острым мышиным глазом стал вгрызаться в Варвару Сергеевну.

Она приняла вызов. Она шла в бой, в конце концов, ради чистой науки. Она подняла голову, посмотрела на врага и пустила его в себя, внутрь – как будто внутри ее не было ни сахара, ни...

– Ку-кка-реkk... – опять запнулся начинающий петушиный поэт за окном.

– Да закройте же... – начала Варвара Сергеевна и не успела кончить, как в вагоне произошло новое чудо: в ответ петуху за окном... запел бюст Варвары Сергеевны. Да, да, бюст: заглушенное кукареку сперва из левой, потом из правой груди...

Разоблачитель чудес с торжеством вытащил оттуда – левого и правого – молодых петушков. Кругом кудахтали от смеха. Госпожа Столпакова была как послереволюционный Александр III: внизу кем-то вырезана позорная надпись, но он делает вид, что не

знает о ней – но зато знает что-то другое.

Это другое – был сахар: стеганую сахаром безрукавку Варвара Сергеевна все-таки довезла.

3

И вот уже затихли бои, созданием мирных ценностей занялась вся республика – в том числе, конечно, и Варвара Сергеевна. Ее ценности были: наполеоны, эклеры, мерен-ги, бисквиты.

С корзинкой в руках она воздвигалась на базарной площади, где, понятно, уж всем была известна чудесная история о поющем бюсте. Сбоку или сзади тотчас же раздавалось: «Ку-ккаре-ку!» – это человеческие петушки, как зарю, приветствовали Варвару Сергеевну.

Однажды петушиное пение, едва начавшись, оборвалось. Варвара Сергеевна оглянулась и увидела над толпой, над всеми головами – чью-то одну голову на тончайшей, жердяной, шее, чьи-то руки, погружающиеся в волны мальчишек. Затем покоритель мальчишек подошел к ней:

– Вы меня помните? Я – Миша.

Варвара Сергеевна сейчас же вспомнила: это был сын бывшего предводителя дворянства – тот самый, какой играл теперь на трубе в ресторане нарпита. Ростом он был даже чуть выше Варвары Сергеевны, но это был только человеческий каркас, не обтянутый мясом, и когда он двигался в толпе, казалось, что, как во времена Марата, – добрые патриоты несут эту голову, поднятую на копье.

Теперь она была рядом – эта трагическая, окровавленная голова – кровь текла из носа и была пролита за Варвару Сергеевну... Варвара Сергеевна, ни секунды не колеблясь, взяла наполеон, отложенный для него, для единственного, для Ростислава, и подала Мише: – Вот... не хотите ли?

Миша хотел. Он явно хотел не только наполеона, но и Александра III: он как бы нечаянно, робко коснулся могучего бюста, сейчас же извинился. В бюсте у Варвары Сергеевны запело – но уже каким-то иным, не петушиным пением... С этого дня Миша был возле Варвары Сергеевны каждый базар.

Был май, было время, когда все поет: буржуи, кузнечики, пионеры, небо, сирень, члены исполкома, стрекозы, телеграфные провода, домохозяйки, земля. В мезонине Ростислав, заткнув уши, наморщив косой лоб, сидел над книгой, Варвара Сергеевна – перед раскрытым окном. За окном в сирени пел соловей, в нарпите пела труба. Ростислав держал выпускные экзамены во 2-й ступени, – и самый серьезный экзамен начинался для Варвары Сергеевны.

Письменные испытания начались на Троицу утром. Варвара Сергеевна спускалась с мезонина, чтобы идти к обедне. В самом низу темной лестницы она увидела заткнутый за щеколду букет сирени, а к букету была приколотая записка следующего содержания:

«Я к вам – с сиренью, а вы ко мне – с молчанием. Я так не могу больше. Ваш М.».

За обедней Варвара Сергеевна увидела и самого «М.» – Мишу. При выходе из церкви Миша, конечно, оказался рядом с Варварой Сергеевной. Коллектив верующих тесно прижал их друг к другу, два сердца пели рядом, был май...

– Вы... вы чувствуете: мы – вдвоем? – задыхаясь, сказал Миша.

– Да, – сказала Варвара Сергеевна.

– И я хочу... чтобы мы... вообще вдвоем навсегда... Я играю на трубе в нарпите, так что я могу... Варвара Сергеевна – да говорите же!

Перед ней мелькнул нахмуренный косой лоб Ростислава единственного... Нет, уже не единственного! Несокрушимый, казалось, волнолом треснул, рассеялся на две половины, вступивших в смертельную борьбу, и у Варвары Сергеевны не было сил решить сейчас же, за кем она пойдет в этой борьбе.

– Завтра вечером... Приходите... я вам тогда скажу, – ответила наконец Варвара Сергеевна.

Завтра был решительный день для Ростислава: последний экзамен – политграмма. И завтра был решительный день для Варвары Сергеевны.

4

Утром Ростислав убежал, еле хлебнув чаю. К обеду он вернулся, сияя косым треугольником лба: он победил, он выдержал!

– Студент ты мой! Столпачонок мой, един... – Варвара Сергеевна запнулась: нет, уже не единственный...

Снизу прибежал поздравлять Морщинкер, и даже допущен был для поздравления Яков Бордюг. Утвердившись у притолоки, он начал приветственную речь:

– Как, знычь, вы... вроде, например, лошадь на ярман-ке... и ежели благополучно продаши и, знычь, хвост в зубы...

Реалистические, рыжие сапоги его ерзали, он искал слов на полу, он мог каждую минуту наступить на них сапогами. От него пахло стихиями, кентавром, потом.

– Ладно, ладно, спасибо... Иди к себе на кухню... – сморщилась Варвара Сергеевна.

Яков Бордюг вышел, гроыхая, как танк. Ушастой летучей мышью выпорхнул Морщинкер. В мезонине осталось трое: Ростислав, Варвара Сергеевна – и тень нависшей над нею судьбы. Солнце садилось, тень становилась все длиннее.

Варвара Сергеевна ждала. Ей было узко дышать, она расстегнула пуговицы на груди, она раскрыла окно. Там, на свежих, только что вынутых из комода облаках, лежала заря, краснея от любовных мыслей. Ничего не подозревающий Ростислав читал газету.

Вдруг лоб у него перекосялся, он крикнул, умирая: «Мама!» Варвара Сергеевна бросилась к нему:

– Что ты? Что с тобой? Ростислав!

Он уже ничего не мог сказать, он только протянул ей газетный лист. Она схватила, обжигаясь, – прочла...

В газете была статья о том, что необходимо наконец изменить социальный состав студенчества, о том, что в этом году первый раз прием будет происходить на новых основаниях, о том, что...

Не нужно было дальше и читать. Все было так же ясно, как ясен был социальный состав Ростислава. Все для него погубило.

Как капли холодного пота, на небе проступали звезды, в ресторане нарпита зажигались огни. Вошел Яков Бордюг, громыхнул на столе самоваром и стал у притолоки. Варвара Сергеевна молча смотрела на него: пусть стоит, все погибло... она молча смотрела...

Вдруг она встала, воскресла: нет, не все!

Тотчас же снаружи, под окном – робкий кашель: это он, Миша, пришел за ответом.

– Да... Да! – отвечая этому кашлю или какой-то своей мысли, сказала Варвара Сергеевна. – Да: только это одно и осталось...

Было бы бестактным спрашивать сейчас у Варвары Сергеевны, что такое «это одно», но мы вправе предположить, что Александра III, чистую науку, Мадонну, мать – все в ней сейчас победила женщина.

Женщина высунулась в окно. Оттуда на нее пахнуло пивом, сиренью, счастьем, оттуда донеслось чуть слышное, как запах, слово «Варечка». В бюсте у нее запекло, но сейчас же, на полуфразе, оборвалось.

– Миша, я не могу сойти к вам... Миша, если бы вы знали, что произошло! Единственное, что мне теперь осталось... – Пауза. И затем самым нежнейшим из всех своих басов: – Ведь вы меня... любите? Да? И вы сделаете для меня все?

– Варечка!

– Тогда приходите сюда завтра в десять, и прямо отсюда же пойдем...

– В загс! – крикнул Миша.

– Как вы догадались? – удивилась Варвара Сергеевна.

Казалось бы, догадаться было нетрудно, и скорее удивительно было, что она удивилась. Но кто поймет до конца женскую душу, где – как буржуазия и пролетариат – рядом живут мать и любовница, заключают временные соглашения против общего врага и снова кидаются друг на друга? Кто знает, о чем, спустившись вниз, говорила она с Морщинкером и даже – с Яковом Бордюгом? Кто объяснит, почему к утру подушка ее была мокрой от слез?

5

Ночью шел дождь. День настал свежий, обещающий, как новая глава. Ростислав еще спал, когда Варвара Сергеевна вышла из дому на улицу. Там уже ждал ее Миша, он сиял счастьем, крахмальным воротничком. Он только что хотел спросить о чем-то Варвару Сергеевну, как из калитки вышел Морщинкер, а за ним – Яков Бордюг: Миша понял: свидетели для загса. Морщинкер был в сюртуке, на Якове Бордюге был новый синий картуз – он налезал на уши, на глаза, до времени прикрывая таинственность Бордюга.

Варвара Сергеевна вытерла платочком ресницы – быть может, вспомнила Столпакова, табачные кольца, рейтузы... Это была последняя минута слабости. Затем она выпрямилась и повела за собой армию в бой.

Загс помещался теперь в «розовой гостиной» бывшего земства. Ничего либерально-розового там теперь уже не было, стояли голые столы, на стене висел строгий плакат: «Проят отнюдь граждан на столах не разлагаться». И под плакатом сидел человек, в кепке, как судьба – одинаково равнодушный к разложению, к смерти, к любви и к прочим гражданским состояниям.

– Вступаете в брак? – сказал он, закуривая папиросу. – Невеста? – Он взял у Варвары

Сергеевны документ, перелистал. – Гм... Ростислав, семнадцати лет... Гм... Ваш сын?

Это было началом генерального сражения. Варвара Сергеевна стояла твердо, незыблемо, как Александр III. Она оглянулась, ее взгляд был императорским, императивным.

И, подчиняясь ему, Яков Бордюг подошел к столу и сказал:

– То есть... это – вроде как мой...

– Как? – человек за столом даже выронил папиросу.

– Да, – твердо сказала Варвара Сергеевна. – Хотя он и записан как сын Столпакова, но он прижит мною от бывшего... от гражданина Якова Бордюга, который его усыновляет ввиду нового строя и вступления со мною в брак...

– Как? – крикнул сзади Варвары Сергеевны Миша.

– ...и вот эти двое граждан, – Варвара Сергеевна показала на Морщинкера и на Мишу, – подтверждают мои слова.

Она еще раз оглянулась. Обрезанная белым воротничком Мишина голова. Его посинелые губы еле выговорили:

– Да... Подтвер... ждаю...

– Да, и я говорю тоже – да, – подлетел к столу Морщинкер.

Человек в кепке вынул из чернильницы муху, обмакнул перо, записал. Ростислава Столпакова больше не было: родился Ростислав Бордюг, теперь уже бесспорно – студент и будущий профессор.

Когда вернулись на мезонин (втроем – Миша туда не пошел), Варвара Сергеевна сказала Якову Бордюгу:

– Ну, спасибо, Яков. Ты больше не нужен, иди... Иди к себе на кухню.

Но рыжие танки сапог не двигались, новый синий картуз прикрывал глаза, пахло кентавром, потом.

– Иди же, ставь самовар, – сморщилась Варвара Сергеевна.

Картуз вдруг соскочил с головы и полетел на кровать Варвары Сергеевны, Яков Бордюг с грохотом сел на стул, прогребил пятерней караковые лохмы и сказал:

– Иди, ставь сама.

Молчание. С раскрытым ртом, онемевший Александр III.

– Ты кто мне теперь, – жана. Ну, так и иди ставь. Слышишь, что я говорю.

Самодержавие пало. Мученица науки пошла ставить самовар.

1934–1935 год